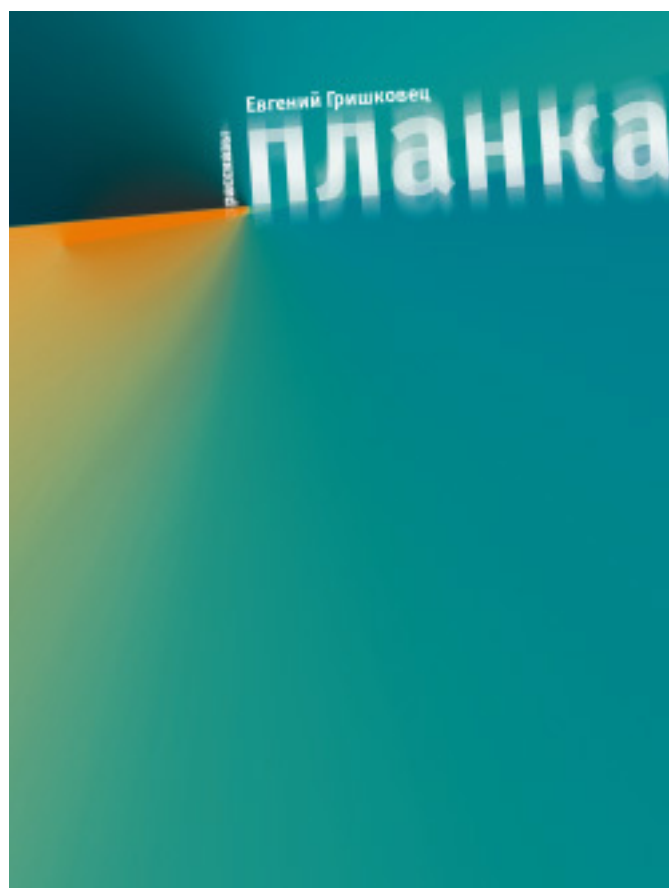


Евгений Гришковец

рассказы  
**планка**



Евгений Гришковец

**Планка (сборник)**

«Автор»

2006

## **Гришковец Е. В.**

Планка (сборник) / Е. В. Гришковец — «Автор», 2006

«В новых рассказах Евгения Гришковца можно услышать эхо Чехова, Шукшина и его собственных пьес-монологов. Он писал и продолжает писать современные истории о смешных и трагических пустяках, из которых состоит наша жизнь. Бытовая ссора, хронический недосып, разбитая банка с маринованными огурцами... Любая ерунда под пристальным взглядом писателя приобретает размах почти эпический, заставляет остановиться на бегу и глубоко-глубоко задуматься. Рассказы эти – лучшая терапия для человека, задерганного будничной гонкой и забывающего смотреться в зеркало. Посмотришь – и кажется, что жизнь твоя не так уж бессмысленна. Ее есть за что полюбить» (Ян Шенкман).

© Гришковец Е. В., 2006

© Автор, 2006

## Содержание

Петр Вайль	6
Другие	9
Вместо предисловия	9
Другие	10
Встреча с мудростью	20
Конец ознакомительного фрагмента.	29

## Евгений Валерьевич Гришковец Планка (сборник)

Друзья!  
Хороших Вам,  
Книг!  
Находите время для  
чтения...  
Гришковец

## Петр Вайль Другой Гришковец

Писатель Гришковец – всякий раз иной. Повесть «Рубашка» с тщательно выстроенным сюжетом и открытым финалом. «Реки» – неизвестно что: повесть, эссе, мемуар, поэма в прозе, – где открыты и финал, и начало, и кульминация: прямо-таки распахнуты и бескрайни, как его Сибирь, о которой речь. Теперь – рассказы, тоже очень различные: и лирические монологи героя-автора («Другие»), и новелла на грани притчи («Погребение ангела»), и едва ли не анекдотическая зарисовка («Лечебная сила сна»), и психологическая история с тщательным и подробным погружением в глубины души («Планка»).

Повествование может идти и от первого, и от третьего лица, но это всегда безошибочно Гришковец. Общее в разных Гришковцах – читательское восприятие. Он (они?) вызывает внятную, сырую, честную эмоцию – просто смех и просто слезу.

От всего этого Гришковец литературный (как и Гришковец театральный) с трудом подпадает под привычную классификацию, на него не клеится этикетка. Он не встраивается, как не встроить ни в какое фиксированное искусство кусок жизни. Он отважно решился приблизить, даже попытаться совместить искусство и нелепо-невнятную повседневность.

Гришковец пишет «как в жизни» – запинаясь, спотыкаясь, путаясь. В нем узнаешь свои, никогда никому не произнесенные слова, недодуманные мысли, невыраженные чувства. Попадания точны: болезненные, как укол, и радостные, как поцелуй. Такое встраивать никуда не хочется.

Обыденное и очень хорошо знакомое опознается как исповедальное и неожиданное.

«...Плохая и однообразная еда, грубость и унижение, унижение бессмысленными делами, которых было много. Оказывается, я привык к этому. Я даже привык всё это ненавидеть...»

Или уж совсем неопределимо-бытовое.

«Он готовил еду, комфортно звучало радио... Дима открыл бутылку вина, в голове летали какие-то спокойные, разрозненные слова типа: «неплохо», или «вот ведь...», или «ё-моё»... Дима позвонил одной своей знакомой, не дозвонился и успокоился окончательно».

Всё это при чтении не столько воспринимается, сколько узнается. Так с возрастом понимаешь, что если любишь путешествия, то постепенно попадание в знакомые места начинает волновать не меньше, а затем и больше, чем места новые. Узнавание становится ценнее новизны, переживание пережитого – значительнее первопроходчества. Это объяснимо: ты видишь себя изменившегося в старых декорациях, и по прежним отметинам строится график твоей души. Так персональные откровения Гришковца, совпадая с твоими, напоминая о твоих, – будоражат и пополняют твое знание о себе. Его авторский личный опыт – благодаря точному художественному чутью – делается способом освоения нашего общего чувственного опыта.

При этом проза Гришковца – всегда конкретна и изобразительна. Стиль подчинен стремлению ухватить «кусочек жизни» в его каждодневной правдивости.

«Сразу же меня отправили в учебный отряд («учебку») Тихоокеанского флота, чтобы изучить военную специальность. Полгода я должен был изучать торпеды...»

Разумеется, здесь не недосмотр: «изучать», а через пять слов – «изучить». Исправить было бы легче легкого. Но тут господствует принцип звучащего – то есть жизненного – слова: звучание не боится повторов, рассказчик знает, что не обязательно и даже противопоказанно всегда искать синонимы. Пишущий себя читает, рассказывающий себя слышит.

«Двоих сняли с поезда в Комсомольске-на-Амуре, одного с сильной температурой, другого из-за попытки украсть что-то на вокзале в Комсомольске-на-Амуре».

Опять повтор. Опять принцип звучания. Требование ритма важнее канонов стилистики. Кроме того – такое неловко даже произнести в приличном литературном обществе, – автор хочет, чтобы его поняли. Нет, он не делает поблажек, не подлаживается, но и не возводит барьеров. Читатель чувствует, что ему доверяют.

В одном интервью Гришковец откровенно говорил о «страшной, изнурительной писательской работе, когда тебе не хватает скорости записывания, текст сочится через ручку очень медленно, а там в это время шевелятся мозги... То есть буквально не хватает скорости, и нужно еще удерживать объемы, чтобы они не ушли, не стерлись, не завис внутренний компьютер и так далее». Писательская манера и техника Гришковца – вся на преодолении этой «страшной» письменной работы: зря, что ли, он столько лет и так блистательно работает в устной словесности – своем ни на что не похожем театре.

Соблазнительно счесть, что именно непохожесть, особость Гришковца и обусловила ту мировоззренческую основу его нынешней прозы, которая обозначена в названии открывающего книгу рассказа – «Другие».

«Я помню, как я обнаружил, что есть другие. Другие люди! Помню, как случилось это, столь, казалось бы, очевидное открытие. Мне открылось, что все люди другие. Не такие же, как я, а другие. Все! И мир не населён мною, размноженным на миллиарды людей. Все другие люди они совершенно другие, а я другой для них. Вот так!»

Фирменный знак Гришковца – он не боится и не стесняется признаться в «очевидном открытии». По-настоящему существует только пережитое, а не узнанное.

То, что все другу другу – другие, надолго обескураживает и поражает, тем более что подтверждается многообразно на каждом шагу.

«Джамал не понимал и не собирался понимать, что перловая каша и макароны это еда и ее можно есть».

Инакость так сильна, что речь идет едва ли не о видовом отличии одного человеческого существа от другого.

«Тот, кто знает отдалённые от цивилизации посёлки, в которых в основном живут разнообразнейшие военные и печальные гражданские лица, он может себе этот посёлок представить. Типичный такой посёлок. А тот, кто не знает, тот не сможет представить себе этот ужас и безысходность. Не сможет, сколько бы я это ни описывал».

То же самое: можно посвятить толстые тома образу жизни земноводных или птиц, но прочувствовать это не дано.

Непреодолимое ошеломление оттого, что все другие и ты другой, – выстраивает книгу рассказов Гришковца. В трогательном «Погребении ангела», где картину внезапно открывшегося человеческого мира по-новому сдвигает смерть собаки. Или в завершающей сборник «Планке», где вообще никто никого не только не понимает, но и в принципе не может понять. Это мироощущение высказывается убедительно – и когда косвенно, опосредованно, и когда напрямую, как в первых рассказах.

«Впереди были два с половиной года. Но они казались бесконечными. Я почувствовал, что это всё навсегда. И даже не корабль и служба... А всё это... Всё это... Жизнь, наполненная какими-то обязанностями, занятиями, делами и людьми. Мне нужно будет жить среди и вместе со всеми людьми. Почему я раньше делал это и жил среди людей, но никогда не думал, что мне приходится это делать. А этот корабль, эту форму, которую я ношу, эту еду, которую я ем, правила, уставы, законы и даже слова придумали другие люди. А они ведь другие. Они другие! Они даже не то что не такие, как я, они просто не я! И так было, и так будет. Так я и буду жить...»

Так понимать, так чувствовать – и так жить. «Надо жить, дядя Ваня». Простое повседневное мужество. Об этом, по сути дела, новая книга Евгения Гришковца, нашедшего подходящие слова и, главное, верную интонацию, – ей веришь.

У Гришковца удобная фамилия – так и следует называть тот непохожий жанр, в котором он работает, чем бы ни занимался, такой вид литературы и искусства. И этот жанр – Гришковец, «гришковец» – всякий раз другой: и в его писательском смысле, и в нашем читательском.

## **Другие**

### **Три рассказа из жизни юного военного моряка**

#### **Вместо предисловия**

В последнее время в современной литературе авторы легко употребляют те слова и их производные, которые раньше считались непечатными. Я не сторонник употребления таких слов без крайней необходимости. Но всё же передать быт и жизнь военного корабля и его экипажа без таких слов оказалось невозможно. Заранее прошу простить меня.

## Другие

Я улыбался тогда, так можно сказать. На лице моём была улыбка, маленькая улыбка. Про неё нельзя сказать, что она была едва заметна. Её вообще никто не видел. А широко улыбаться в одиночку, наверное, совсем невозможно. Широко улыбаться можно только кому-то. Другому человеку.

Я как-то узнал, что та мышца, которая растягивает губы в улыбку, называется «резориус», такая специальная мышца лица. Так вот, из-за того, что мне было тогда как-то хорошо, мышцы моего лица слегка натянулись, и получилась маленькая улыбка, я её почувствовал и знал, что она (улыбка) там (на лице) есть. Но её я не видел.

Улыбаться приятно, это физически приятно. Ещё приятнее смеяться. А хохотать – это же просто удовольствие! И здесь дело даже не в причине смеха. Можно услышать и прочесть удивительно тонкую шутку, поразиться остроумию её автора, даже подумать: «Как же смешно, чёрт возьми!» Можно стать свидетелем чрезвычайно комичной ситуации, отметить про себя, насколько она комична... и не посмеяться. Будет приятно, но физической радости смеха не будет...

А можно хохотать, теряя дыхание и равновесие, падать на колени, плакать от рвущего смеха и удивляться тому, что шутка-то была дурацкая или ситуация идиотская. И все вокруг тоже будут умирать от смеха, утирать слёзы и говорить: «Чушь какая!» Но как это приятно! Хохотать! Пойти с друзьями в кино на какой угодно фильм, и, чем фильм глупее, тем даже лучше, потому что можно смеяться непрерывно. Или выпивать хорошей компанией и поймать ту самую смешинку, которая вызывает взрыв смеха за взрывом, по любому поводу. Или... Да сколько угодно ситуаций, когда можно вдоволь посмеяться. Но только не одному! Только с другими... С другими людьми.

Я помню, как я обнаружил, что есть другие. Другие люди! Помню, как случилось это, столь, казалось бы, очевидное открытие. Мне открылось, что все люди другие. Не такие же, как я, а другие. Все! И мир не населён мною, размноженным на миллиарды людей. Все другие люди они совершенно другие, а я другой для них. Вот так! Я помню, как это открылось мне, как я был ошеломлён и как в первый раз стал всматриваться в людей, даже хорошо мне знакомых, после этого открытия.

А незадолго до этого открытия на моём лице была улыбка, я чувствовал её. Глаза мои были закрыты, в вагоне было темно, я лежал на верхней полке, слушал стук колёс, чувствовал, как железные колёса катятся по рельсам и звучат на каждом стыке.

И хоть матрасов, подушек, а уж белья тем более, нам не выдали, но, закрыв глаза, и слушая все железнодорожные звуки, и нюхая вагонные запахи, можно было даже забыть, что я еду в военном эшелоне. И еду не туда, где меня ждут родные люди и всякие приятные встречи и дела... Можно было даже забыть о том, что я уже полгода военный человек и мне ещё два с половиной года таковым придётся быть, а поезд нас везёт к новому месту службы.

Если честно, обо всём этом невозможно было забыть, просто об этом можно было не так обречённо думать, лёжа на полке вагона. За сутки пути я уже выспался, в первый раз за полгода, я был сыт, и мне ничего не надо было делать... Мне было хорошо, я улыбался, и где-то в груди несколько раз сильно ощущалась надежда, что всё в конце концов будет хорошо и что там, куда нас везут, будет... по крайней мере не так, как было там... где я полгода назад стал военным моряком и нёс службу как мог.

Я уже отвык... Да что там, я уже даже забыл, как это можно спать днём и вечером или... когда угодно.

Я привык к тому, к чему привыкнуть, как выяснилось, можно, но очень не хочется (привыкать). И даже казалось, что такая жизнь длится не последние полгода моей жизни, а всегда. Почти так же, как когда приезжаешь куда-нибудь отдохнуть и на третий день отдыха, вечером, тебе кажется, что ты тут, ну там, куда ты приехал отдыхать, уже чёрт знает как долго, а на самом деле всего-то два с небольшим дня.

Я попал служить на флот. Так уж случилось. Сразу же меня отправили в учебный отряд («учебку») Тихоокеанского флота, чтобы изучить военную специальность. Полгода я должен был изучать торпеды, глубинные бомбы и другое грозное оружие, чтобы потом попасть на корабль уже специалистом. Но эти полгода ушли на корявые строевые занятия, на унижения, усталость и постоянное желание спать. Эти полгода нужны были флоту, чтобы я забыл своё имя, забыл, что есть разные, ничем не обоснованные мысли, желания и настроения. Наверное, это обычное дело... Но было плохо. Очень плохо было мне. И я забыл, как я жил до начала военной моей жизни. Нет! Я, конечно, помнил свою жизнь и помнил, что я делал. Этого я забыть не мог. Но я также не мог вспомнить, как я жил. Помнил, что жил, но как, не помнил.

А тут я лежал на верхней полке вагона и прежние ощущения и совершенно новое ощущение сильной надежды вливались в мои, обновлённые военной службой, жилы.

Как же я... Да нет, не я, а мы все... Как же мы ждали отправки на корабли. Мы не ждали более лёгкой и весёлой жизни, мы просто знали, что нужно пережить полгода «учебки» – и будет другая жизнь. Другая! Пусть более суровая и строгая, но другая. А той жизнью мы были сыты уже до предела. Мы прожили все возможные ощущения, которые возможно было пережить в учебке, прожили их по многу раз, и повторы стали невыносимы.

А ещё необходимо было ощущение хоть какого-то смысла. Как раз этого ощущения не было вовсе. И поэтому мы ждали отправки на корабли. Ну уж если мы попали служить на флот, то смысл нужно было искать на корабле... в море.

Я совсем не хочу описывать полгода муштры, а главное, унижений. Это скучно, и без подробностей не обойтись. Так что не буду об этом. К тому же за эти полгода не случилось особых открытий, кроме того, что выяснилось, что привыкнуть можно ко многому, даже если очень не хочется привыкать. Ещё открылись очень простые, если не сказать, подлые, свойства моей собственной природы, свойства которые, между тем, помогали переносить унижения и, если хотите, помогли выжить.

И вот я лежал на полке вагона специального эшелона и улыбался. Кончилось то, что переносить было, казалось, невозможно, а впереди ждало неизбежное неведомое.

Мы видели военные корабли в бухте рядом с нашей учебкой. Мы видели их постоянно.

Сначала они не вызвали во мне никаких чувств. Да и не могли. Я вырос далеко от моря. Корабли были просто диковинкой и очень странными объектами. Постепенно они стали самым интересным из того, что вообще можно увидеть. А главное, они стали тайной неминуемо грядущей жизни.

Корабли то входили в бухту, то покидали её, а то просто стояли на рейде, и их можно было рассматривать, пытаясь представить себе жизнь, идущую там, внутри этих столь странных, больших, плавающих по морю предметов. Ночью с кораблей доносились какие-то неясные, но чем-то приятные звуки. А ещё в ночных корабельных огнях чувствовалось тепло.

Иллюминаторы горели каким-то янтарным светом, а в огнях на мачтах была строгость и чувствовалась обязательность и известная настоящим морякам значимость этих огней.

Утром на кораблях звенели звонки, с кораблей доносились звуки горна. Мы могли видеть матросов, которые быстро, казалось просто струйками, скользили по па лубам, мачтам и надстройкам. Я много раз видел, как на стоящих недалеко от нашего берега кораблях поднимали флаг под протяжный звук горна. Матросы в этот момент стояли на корме и белыми своими бескозырками создавали видимость живой пены.

Однажды я видел, как надо мной пролетел большой боевой вертолёт, потом он летел над водой, подлетел к кораблю и сел на специальную вертолётную площадку этого корабля. Вертолёт в этот момент казался совсем маленьким и ненужным.

Я видел, как корабли возвращались из дальних походов, они входили в бухту, украшенные флагами. Было видно, что корабль устал от моря. Ржавые разводы и пятна выдавали усталость. Корабль входил в бухту, салютовал выстрелом, который был виден сначала как вспышка на носу, потом лёгкое белое облачко дыма уносил ветер, и только потом до берега долетал звук выстрела. Где-то на другой стороне бухты начинал играть невидимый духовой оркестр.

Как я хотел туда, на корабль! Хотя я совершенно не знал, чего я хочу и как там. Я просто очень сильно не хотел того, что у меня было. Не хотел того, к чему, не желая того, привык.

Я пытался представить себе свой корабль. Какой он будет, большой или маленький. Ходило много разнообразных разговоров о том, какая тяжёлая жизнь на кораблях. Говорили, что на маленьком корабле служить легче, потому что команда небольшая, все друг друга хорошо знают, офицеры как родные и кормят по-домашнему. А на больших кораблях всё наоборот: и служба тяжёлая, а еда негодная. Зато если попасть на большой корабль, то есть все шансы сходить в дальний поход.

Какой же будет корабль? Какой? Мне даже снилось что-то неопределённое...

Когда прошли шесть месяцев учебки, уже наступила и всюю стояла непривычная мне, то есть сырая и ветреная, дальневосточная зима... И вот нас стали забирать на корабли. В учебку уже прибывали новые несчастные, которым предстояло то же самое, что и нам. А мы ждали своих «покупателей». Почти каждый день, а то и несколько раз в день, нас строили на зверски продуваемом плацу и зачитывали списки тех, за кем прибыли из той или иной флотилии. Те, чьи фамилии называли, радостно и взволнованно кричали: «Я!» и выходили из строя. Наши ряды редели, терпения уже не оставалось... А тех, за кем приехали, подводили к тем, кто за ними приехал. Это были те самые «покупатели». Как правило, это был офицер и пара старшин или матросов. Они были совсем не такие, как те офицеры и старшины, которые затесались в учебные кадровые команды. Это какими нужно быть людьми, чтобы желать служить в учебке, с удовольствием мучить и наблюдать ужасы первых дней службы совсем юных людей. Кем надо быть, чтобы носить морскую форму и не стремиться попасть на корабль? Я не мог понять. Те же офицеры, которые приезжали за нами из дальних флотилий и соединений, были совершенно не такие, старшины и матросы тоже. Во-первых, они все были с усами! Они улыбались, и в том, как на них сидели шинели, как они ходили и даже курили, чувствовался какой-то совершенно другой опыт и знания.

Обычно забирали человек по пятнадцать – двадцать, они собирали свои вещи, радостно прощались с нами, и их увозили навсегда из учебки и из моей жизни. Иногда забирали всего несколько человек. Это значило, что их везут куда-то на конкретный корабль.

А однажды приехал грустный долговязый мичман с большими седыми усами. Нас даже не строили, а просто дежурный вызвал Серёгу Солдатова, моего соседа по койке, грустного худого парня родом откуда-то из-под Саратова. Все подшучивали над ним из-за фамилии. «Матрос Солдатов» – действительно звучало комично. «А я так и знал, что на флот заберут», – как-то печально сказал он мне. Серёга был худой, маленький, грустный и тихий парень. Мы спали с ним рядом все полгода. Я хорошо его запомнил.

В детективных романах можно часто прочесть короткое описание какого-нибудь персонажа типа: «У него было волевое, обветренное, грубо вытесанное лицо с неожиданно живыми, голубыми, всегда улыбающимися глазами» или: «Его тонкие губы всегда кривились в высокомерную улыбку». И всё, и достаточно. Так и действует этот персонаж весь роман в соответствии с таким коротким описанием.

Серёга Солдатов был маленький, худой и грустный, так и действовал он в моей жизни полгода, а потом его увёл пожилой усатый мичман. Серёга несколько раз говорил, что очень

хочет попасть на большой, а лучше – очень большой корабль. Ну а если совсем повезёт, то на авианосец.

Помню, он, не торопясь, собирал свои вещи, после того как ему сказали, что за ним прибыли.

– Ну, куда тебя? – спросил я.

– В бухту Ольга, на торпедолов. На катер, бля! – сказал он грустнее обычного.

Он набивал свой вещмешок (совершенно такой же, как обычный солдатский, но мы всё равно называли его «рундук»). В наше ротное помещение зашёл мичман, приехавший за Серёгой.

– Вот как вы тут, значит, живёте. Неплохо, – сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь.

Он был высокий такой дядька, в помятой шинели, брюках... всё на нём было помятое.

– Давай, сынок, прощайся! – сказал он, и сам стал прощаться с нами, хотя мы этого от него не ждали. – Ну, давайте, моряки, до свидания! Держитесь, сынки! За этого, – он кивнул в сторону Серёги, – не беспокойтесь...

Я видел в окно, как они уходили в сторону причала, куда должен был подойти паром до Владивостока. Как только мичман вышел на улицу, он тут же закурил, потом предложил Серёге, тот отказался, тогда мичман сунул Серёге пачку в руку, тот взял сигарету, и они оба задымили. Потом мой сосед Серёга Солдатов накинул свой большой вещмешок на плечо, и они пошли медленно, молча и грустно, почти одновременно выпуская дым. Так прошли они немного, потом мичман остановился, помог Серёге надеть вещмешок на оба плеча, что-то подтянул, поправил, похлопал Серёгу по плечу, и они снова пошли. Высокий худой дядька и худой маленький парень... Никому я так не завидовал за всю службу. И вообще редко я завидовал так сильно, как тогда Серёге.

За мной приехали рано утром, было ещё совсем темно. Тогда называли двадцать две фамилии, в том числе и мою. Я услышал звукосочетание, которым и являлась моя фамилия, вздрогнул и крикнул «Я». Упитанный капитан третьего ранга, на удивление безусый, и два усатых старшины с длинными чубами, которые у них торчали из-под совсем маленьких, а стало быть, «модных» шапок, ждали нас у канцелярии. Нас ещё раз проверили по списку и приказали живо собирать вещи.

– А куда поедет-то, тащ ка трете ранга? – спросил кто-то из нас.

– Поедем далеко! Поедем, молодые люди, в Совгавань, служить в 93-ю бригаду БЭМ Сахалинской флотилии.

– А на какой корабль? – вырвалось у меня.

– На хороший! – усмехнувшись, сказал один из чубатых старшин. – Алё! Вы чё, не слышали? Шесть секунд вам на сборы. Бегом!

Это только кажется, что на Дальнем Востоке всё рядом. В смысле сам Дальний Восток далеко, но, если туда доехать, там всё вместе и рядом. Владивосток, Курилы, Камчатка, Сахалин... А на самом деле всё это довольно далеко друг от друга. От Владивостока до города Советская Гавань было далеко. Нужно было ехать почти двое суток. К тому же наш военный поезд был далеко не скорый и не экспресс. В общем, я успел поесть и насытиться тушёнкой с белым хлебом и сладким чаем, который был почти бесцветным, но его было хоть залейся. Потом я выспался в досталь и спал уже просто так... Очень хотелось помыться, но это было терпимо и уже слишком.

Я лежал на верхней полке и улыбался. Мне было хорошо. На корабль уже хотелось не очень, а точнее, совсем не хотелось. Лучше было бы вот так ехать, ехать, и всё...

Мы прибыли на станцию Совгавань-сортировочная вечером, без промедления высыпали на перрон и задышали паром, подсвеченным железнодорожными яркими фонарями.

Представляете, мы в чёрных шинелях на белом снегу, хрустим свежим снегом, который выпал за день. Из соседнего вагона высыпали морские пехотинцы. Они были тоже в чёрных шинелках, только каких-то коротких, и брюки у них были заправлены в короткие сапоги, а так... точно такие же, как мы, только выше ростом.

Мы, чёрные на белом снегу, пар от нашего дыхания, пар от вагонов... Всё как в чёрно-белом кино про войну.

Как же не хотелось выскакивать из тёплого и душного вагона на этот свежий снег. И уже невыносимая учебка вспоминалась как вполне возможное для жизни место, где было плохо, но всё знакомо... Были знакомы все доски пола в проходе между койками, эти доски я так тщательно и с такой ненавистью драил. Была привычна моя койка, вторая от прохода слева, плохая и однообразная еда, грубость и унижение, унижение бессмысленными делами, которых было много. Оказывается, я привык к этому. Я даже привык всё это ненавидеть и привык хотеть скорее попасть на корабль.

Весь мой организм привык к быстрому просыпанию в шесть утра, руки и даже пальцы привыкли к каждой пуговице грубой матросской формы, тело привыкло ко сну в любой позе, а сознание привыкло к тому, что у меня нет имени, и забыло, как это можно жить... Просто жить. Но в то же время весь я, весь мой организм и сознание чего-то хотели. Чего-то другого... И там, на перроне станции Совгавань-сортировочная стало выясняться, что то, чего хочется, наверное, скоро не сбудется...

– 93-я бригада! Сюда, бойцы! – это выкрикивали нас. Из двадцати двух до Совгавани доехали двадцать. Двоих сняли с поезда в Комсомольске-на-Амуре – одного с сильной температурой, другого из-за попытки украсть что-то на вокзале в Комсомольске-на-Амуре.

Со станции до кораблей мы шли очень долго! Сначала медленно и неохотно... Шли по какой-то замёрзшей грунтовой дороге мимо какого-то посёлка, может быть, это и была Совгавань. Потом мы шли устало, зябко и молча по дорожке, через какие-то перелески, которые были едва различимы в лунном свете. А потом почти бежали от холода и неясности... Неясности, далеко ли ещё. Потом дорога стала петлять между сопкок, а иногда взбираться и спускаться по этим сопкам. И когда уже казалось, что мы будем так вот идти, пока не замёрзнем и не попадаем... Когда мы из последних, казалось бы, сил взошли на очередную сопку и перелезли через неё... мы увидели корабли.

Мы не замерли от увиденного и не замедлили шага, но на миг возникло ощущение, похожее на то, которое бывает на американских горках, когда вагончик долго ползёт вверх, добивается до вершины и на какое-то мгновение зависает над стремительным спуском... На самом деле вагончик не зависает, это в груди что-то замирает, а потом падает вниз вместе с вагончиком. Корабли были внизу. Нужно было спуститься с сопки – и... вот они.

Как описать увиденное?! Внизу я увидел огни. Огни отражались в чёрной воде бухты. Вода была чёрная-чёрная, очевидно, холодная и бездонная. Освещённый пирс уходил от берега под прямым углом. У пирса стояли пять кораблей. С правой стороны два очень больших, а с левой три больших, но не таких больших, как справа. Пирс был освещён прожекторами и фонарями. На кораблях тоже горели разнообразные огни. От кораблей шёл пар и дым. Корабли, казалось, дышали, как живые. С одного из них, что стоял справа от пирса, в небо бил мощный прожектор. Он медленно очертил широкую дугу, добивая, казалось, до ближайших звёзд. На самом дальнем из левых кораблей, среди хитросплетений и каких-то нагромождений, мачт, локаторов и антенн, ближе к носу, вспыхивала и гасла молния электросварки. Оттуда доносился отчётливый стук металла о металл. Кто-то бил чем-то железным по железу. Иллюминаторы тёплыми кружками светились вдоль бортов и отражались в чёрной бездонной бухте.

От увиденного не возникало ощущения дома, куда мы так долго шли и где нас ждало тепло и спокойствие... Мы стали спускаться. Панорама пирса и кораблей скрылась за деревьями. Только луч прожектора был виден – ползущий по небу. Он полз медленно и серьёзно.

Спустившись ниже, мы вышли на более широкую дорогу, которая и вела к пирсу, но, видимо, была более длинная, вот нас и повели через сопку напрямик. Мы шли молча. Мы готовились...

– Ну, чё притихли? Алё, веселей! – крикнул один из старшин, который с нами был всю дорогу и оказался говорливым дураком. Он постоянно рассказывал какие-то страсти-мордасти про службу на корабле, не зная того, что большую часть этих баек мы уже слышали, ещё когда ехали из дома в сторону Тихого океана. – Не ссать!..

Он сказал ещё что-то в том же духе, но я, а наверное, уже и все мы не слушали. Впереди показались железные ворота с большим жестяным якорем и красной звездой на них. Из будки КПП вышел офицер, старший лейтенант, с усами и повязкой дежурного на рукаве. С ним вместе к нам шагнул матрос в тулупе, валенках и с карабином за спиной. Карабин был с примкнутым штык-ножом.

– Кто это у нас тут идёт? – игриво спросил старший лейтенант. – Долгожданные молодые люди?

– Караси! – обрадовался матрос в тулупе и блеснул золотым зубом. – Заждались мы вас! Тащ капитан третьего ранга, – обратился он к капитану третьего ранга, который нас сопровождал, – а к нам на «Гневный» будут караси, а?

Капитан третьего ранга проигнорировал вопрос. Он со старшим лейтенантом стал просматривать список и о чём-то говорить. А вахтенный в тулупе радостно поздоровался со старшинами, с которыми мы ехали, они даже обнялись и тоже о чём-то заговорили, периодически громко хохоча. Не любимый нами старшина оглянулся на нас, стоявших неровным строем поодаль, и ткнул пальцем в кого-то из нас и, кажется, в меня. Потом они снова засмеялись.

– Тащ капитан третьего ранга! А можно покурить? – спросил наш говорливый сопровождающий.

– Отставить! Потом покуришь, пошли! – крикнул капитан третьего ранга.

Матрос в тулупе приоткрыл ворота, и мы зашагали к пирсу. Мы прошли метров сто и остановились у первой сходни, вдоль поручней которой тянулась надпись «Гневный». С этого места с обеих сторон над нами высились корабли.

Нас снова построили, и вдруг капитан третьего ранга и оба старшины куда-то ушли, а мы остались стоять. Почти сразу наш строй потерял форму, мы стали оглядываться по сторонам. Задрав головы, мы рассматривали корабли.

Не помню, чтобы я восхищался или пугался вида кораблей. Во мне не звучало: «Ух ты, ну надо же!», или «И вот тут мне предстоит нести службу», или «Так вот они какие!», или «Какой ужас!» Ничего не звучало во мне. Я просто смотрел и ни о чём не думал.

А тем временем корабли вдруг ожили совсем. Из всех иллюминаторов повысовывались головы, на палубах появились фигуры.

– Эй, моряки! Откуда такие?!

– Алё-о-о! Из Краснодара кто-нибудь есть?

– На какой пароход, военные?

Нас засыпали вопросами, а мы даже не понимали, кто именно к нам обращается. Стояли и молчали.

– Ну чё?! Язык проглотили? Откуда такие молчаливые?

– Алё, караси?! Чё такие задроченные? Вас что, не воспитывали, как надо со старшими разговаривать?

Нас почти не учили нашим военным специальностям, но за полгода мы хорошо уяснили, что лучше помалкивать. И если есть возможность молчать, то надо молчать до последнего!

А вдоль бортов кораблей уже собралась целая толпа. Кто-то был в шапках и шинелях, а кто-то вышел на холодный ветер в одной полосатой майке и трусах. Все радовались, смеялись, что-то кричали нам, кто-то даже громко и заливисто свистнул.

– К нам давайте, караси! У нас тут лучше всех!

– Давай к нам! Мореманы, давай к нам, в наш героический экипаж! – Слышали мы с разных сторон.

И вдруг резкий крик «Шуба!» перекрыл весь этот гвалт. Тут же всё стихло, и люди всосались в корабли, как вода в губку, как будто их и не было. Мы в свою очередь быстро изобразили строй. К нам по пирсу шагали несколько офицеров. Один из них, который быстро шёл впереди, был явно тем, чьё появление смело долой все крики и заставило поспрятаться тех, кто кричал. Он шёл, широко шагая и так же широко размахивая одной рукой. За ним бежали тот самый дежурный старший лейтенант и высокий молодой офицер, который оказался при ближайшем рассмотрении лейтенантом медицинской службы.

– Ну, сынки, как добрались? – сказал нам тот, кого все так испугались. Он даже сделал паузу, как будто ждал ответа. – Устали? Ну ничего. Вы прибыли в нашу бригаду, здесь вам уже беспокоиться не о чем. Жалобы какие-нибудь есть?

Мы молчали.

– Может быть, кто-то нездоров, а? – продолжил он. – Дмитрий э-э-э...

– Михайлович, – быстро ответил длинный лейтенант-медик.

– Да-да! – тут же сказал главный. – По-моему, все здоровы! Потом, если надо, их осмотрите.

– Обязательно, – быстро ответил медик. – Товарищ капитан второго ранга, я хотел...

– По-моему, все настоящие герои, – снова перебил его этот капитан второго ранга.

Он говорил очень чётким голосом. Такой голос слышно даже в толпе, и было ясно, что обладатель этого голоса шёпотом говорить вообще не умеет. Он может говорить либо громко, либо очень громко. Крик такого человека лучше не слышать. Тут к нему подбежал наш капитан третьего ранга, он как мог принял вытянутый вид, отдал честь, доложил о прибытии пополнения и о двух оставшихся в Комсомольске... Потом офицеры тихо совещались о чём-то. Потом...

– Всех дежурных ко мне! – приказал кап. два.

Вскоре со всех кораблей прибежали дежурные офицеры и отрапортовали о себе почти нечленораздельными гавкающими выдохами.

– Вот! – громко сказал пришедший капитан второго ранга и указал на нас правой рукой с вытянутым указательным пальцем. – Ну-ка посветите-ка на них! Алё! Ну-ка посветите на них, а то не вижу, с кем служить будем!

Прозвучал целый град команд, и вдруг зажётся прожектор на корабле, который возвышался перед нами. Прожектор направили на нас и ослепили нас совершенно.

– Ну-у! Теперь видно! Значит, так! – это он сказал, чтобы перейти на другой звуковой режим, и голос его зазвучал так, что не было сомнений, что он проникает в самые глубокие и потайные недра кораблей и нет человека, даже у громко работающих машин, где-то в машинном отделении самого далеко стоящего корабля, который не услышал бы этот голос. Он обращался ко всем тем, кто поспрятался, и даже к тем, кто спит.

– Значит, так! – сказал он. – В нашу славную бригаду пришли наши новые братья! Они должны получить здесь заботу, внимание и... совет старших по сроку службы и званию товарищей. Чтобы я не услышал о том, что кого-то из них обидели или оскорбили. Окажите им достойный приём, и чтобы я от них не услышал потом, что кто-то к ним тут отнёсся не должным образом! Понятно?! – крикнул он, не предполагая, что кто-нибудь решится вякнуть что-нибудь в ответ. – Вы, наверное, голодные с дороги? – спросил он, переключившись на более тихий вариант звучания. – Да, конечно, голодные! Сейчас вас разведут по вашим кораблям и накормят. Вливайтесь в настоящий флотский коллектив. Значит, так, – он снова переключил громкость. – Значит, так! Вновь прибывших наших молодых товарищей разместить и накормить, как положено на флоте! И имейте совесть, бля, мать вашу! Это же братья наши меньшие!

Не обижать! Всё! Выполнять! Вольно! – Он отдал честь всем вместе и никому конкретно, развернулся и пошёл прочь.

Наш капитан третьего ранга тут же развернул список и стал выкрикивать:

– Агишев 10-599, Бараксин 90-125, Букин 90-125, Габаев – какая-то ещё цифра... И так далее. После моей фамилии прозвучало 10-599.

– Десять, пятьсот девяносто девять, ко мне, бегом марш! – крикнул большой во всех смыслах усач, который был не в шинели, а в чёрной куртке с капюшоном, которую, как выяснилось, называли на кораблях «альпак». Когда этот офицер стоял к нам спиной, я увидел у него на куртке белый трафарет: якорь и надпись «Гневный».

Мы подбежали к нему, нас было шестеро, остальных отозвали в другие стороны.

– Вам, бля, повезло! – сказал он. – Вы вливаетесь в славный экипаж БПК «Гневный», надеюсь, бля, что никто об этом не пожалеет.

– Ну, счастливо вам на «Гнойном», салаги! – крикнул кто-то с корабля, который стоял по другую сторону пирса.

– Это какая падла там вякает?! – крикнул наш офицер. – Я тебе твой поганый язык в гудок забью! Пошли, – сказал он нам и зашагал к ближайшей сходне с надписью «Гневный».

На палубы всех кораблей уже снова высыпала толпа. Звучали смех, крики и свист. А я был в каком-то бессознательном состоянии, я только слушал, смотрел и фиксировал.

Когда я шёл по трапу на корабль, в первый раз в жизни на большой боевой корабль, я уже был близок к обмороку. Казалось, я уже не могу больше получать дополнительные впечатления и информацию, уже всё...

Я шёл предпоследним. Мы шли вереницей по узкому деревянному трапу... И вот трап закончился, и я шагнул на железную палубу. Мой ботинок, на который намёрз и налип снег, скользнул по палубе. Я чуть не упал.

– Привыкай! – крикнул кто-то. – Не корова на льду.

Нас повели по кораблю с кормы на нос. Мы шли по левому шкафуту (это я потом узнал, что это так называется). На меня обрушились запахи. Мы шли вдоль левого борта, и нас обдавало паром, жаром и запахом солянки. Из каждой двери и иллюминатора вырывались эти запахи и жёлтый свет. Мы шли, и из каждой щели звучало:

– Откуда, братцы? Из Саратова есть?

– Алё, из Казани кто-нибудь есть?

– Смоленских нету?

Мы прошли очень много метров, но корабль не заканчивался. Вдруг нас завели в одну из дверей, нас ослепил яркий свет, и мы стали спускаться по лестнице (все лестницы на корабле называются трапами) куда-то вниз.

Внизу горел тусклый свет, было душно, жарко и пахло большим количеством не очень тщательно отмытых молодых мужчин. Мы увидели койки, висящие с одной стороны на цепочках, а с другой стороны – прикрепленные к стене (переборке, так называются на корабле стены). Койки были в два яруса. На всех сидели и лежали моряки.

Многие были с усами. Плечи многих украшали татуировки.

– Оп-па! Кого мы видим! – услышали мы. Интонация была такая, к которой мы уже привыкли.

К нам подошёл старшина, одетый по форме и с повязкой на руке.

– Садитесь, раздевайтесь, и будем говорить, – сказал он тоном, в котором чувствовалась даже не сталь, а стужа Антарктиды. Мы сели. – Ну-у-у. Откуда прибыли?

Молчать тут было уже нельзя, и мы сказали, точнее, кто-то из нас сказал.

– Так вы чё, из учебки, что ли? – разочарованно сказал вахтенный старшина.

Мы подтвердили.

Было такое впечатление, что все страшно огорчились. А огорчились они тому – это мы узнали и поняли существенно позже, – что мы уехали из дома уже больше полугода назад. То есть мы были, как несвежие газеты. Конечно, газету полугодовой давности можно полистать, но без особого удовольствия и уж совсем от нечего делать. От нас свежих новостей о гражданской жизни получить было трудно. Да и мы тоже уже мало чему удивлялись, мы были усталыми, и на нас производить впечатление было неинтересно.

– Из Красноярска кто-нибудь есть?

– Из Туапсе?

Земляк среди нас нашёлся только уроженцу Тюмени. Парень из Тюмени, большой и сутулый, увёл своего земляка куда-то в угол и стал с жадностью узнавать его адрес, школу, имена знакомых и пр. Было слышно, с каким наслаждением они называли друг другу названия знакомых улиц...

– Нам сказали, что вас надо покормить, – сказал старшина с повязкой, – что вы, мать его, голодные! Мы, конечно, вас накормим, если вы потерпеть не можете. Я пойду принесу вам поесть, потом помою за вами посуду. Потому что вы здесь пока ни ху... ничего не знаете. Вы этого хотите? Вы потерпеть до утра не можете? – Он уставился на нас самым иезуитским образом и ждал.

Мы хлопали глазами и молчали.

– Ага! – продолжил он. – Значит, я должен пойти разбудить кока, старшину первой статьи Джумагазиева, который устал за целый тяжёлый день, а ему с пяти утра снова готовить? Значит, вы хотите, чтобы я разбудил усталого человека, который отслужил уже два с половиной года, и сказал ему: «Эльдар! Тут пришли молодые люди, очень хотят есть, накорми их как можно скорее, а то если их не покормить, то они пожалуются на тебя». Вы этого хотите? То есть хотите жрать, аж совесть потеряли?

– Да нет! Мы... – начал было я.

– Да что нет, карасина?! Жрать-то хотите? – продолжал дежурный старшина.

– Чё ты, Терёха, к ним цепляешься? Нормальные пацаны, – сказал, слезая со своей койки, усатый моряк, широкоплечий, как краб. – Шас хлеба и масла найдём, чаю запарим, пусть пацаны отогреются. Видишь, их и так задрочили уже, – тихо сказал он, – сидите, пацаны, всё хорошо. Сёдня отдохайте. Завтра разберёмся, кто вы такие, а сёдня отдохайте, – и, обращаясь ко всем в кубрике: – Чё как не родные? Забыли, как самих сюда привели? Сами ссали, так что трап отмыть не могли. Сидите, пацаны, всё нормально будет. Если вы нормально, то и мы не звери. Всё будет по-людски...

Я снял с головы шапку и почувствовал, что вспотел как мышь. Я был весь мокрый под шинелью, робой и тельняшкой. Мне вдруг стало как-то всё равно, что будет дальше, что будет со мной и будет ли вообще. Нам что-то говорили, мы отвечали. Выяснили, что я по своей неизученной мною специальности торпедист и прибыл на корабль, чтобы служить в минно-торпедной команде, то есть боевой части 3. Мне показали моего непосредственного командира и других минёров и торпедистов. Нашли койку. Простыни пообещали на следующий день. Потом повели показывать, где галльон (в смысле, туалет). Я стоял в галльоне и смотрел на то место, куда буду ежедневно и по несколько раз ходить, скорее всего, буду его много раз чистить и мыть, проведу в этом месте много времени. Мне этого очень остро не захотелось!

Потом мне показали торпедные аппараты, погреб, где хранились глубинные бомбы, какие-то ещё помещения. Через десять минут я понял, что уже не помню, как вернуться в кубрик. Лабиринты коридоров, двери, двери, двери. Трапы, идущие вниз, трапы, ведущие наверх. Хитросплетения бесчисленных кабелей, каких-то трубок, везде таблички, трафареты. Сплошной клубок механизмов... и везде люди. Все знали друг друга, и все знали всё... Знали, как что называется, что для чего нужно, и, главное, они знали, что они должны делать.

А мне вдруг стало скучно, как-то нестерпимо скучно, даже пропало желание помыться, смыть грязь дороги и пот. Было ясно, что я скоро всё это узнаю, запомню и буду, наверное, не хуже других. Не хуже других! Но мне так отчётливо вдруг этого не захотелось. Впереди были два с половиной года. Но они казались бесконечными. Я почувствовал, что это всё навсегда. И даже не корабль и служба... А всё это... Всё это... Жизнь, наполненная какими-то обязанностями, занятиями, делами и людьми. Мне нужно будет жить среди и вместе со всеми людьми. Почему я раньше делал это и жил среди людей, но никогда не думал, что мне приходится это делать? А этот корабль, эту форму, которую я ношу, эту еду, которую я ем, правила, уставы, законы и даже слова придумали другие люди. А они ведь другие. Они другие! Они даже не то что не такие, как я, они просто не я! И так было, и так будет. Так я и буду жить...

– Ну чё? Не спи, замёрзнешь! – сказал, подтолкнув меня в спину, тот самый плечистый парень, который заступился за нас. – Не ссы, привыкнешь. Ты, главное, всё делай быстро и думай! Будешь думать и успевать – тебя зауважают. А чего ещё надо? Давай, иди спать. Завтра тебе никто сопли вытирать не будет. Ну а если чё-то непонятно, ты спрашивай. Давай, не шароёбься здесь, – и он ловко скользнул вниз по трапу и скрылся.

А я не знал, куда идти. Я наугад открыл одну дверь, в лицо ударили ветер и холод. Там, за дверью, была ночь и блестели намёрзшим льдом леера (ну, скажем, перила вдоль борта). Я закрыл дверь и окончательно растерялся. Те, кто показывал мне корабль, куда-то исчезли. Мне показали, может быть, соую часть того, что можно было показать, но я уже всё забыл и заблудился.

– А, вот ты где! – услышал я вдруг. Меня нашли. – Ты тут один не броди, а то утащат тебя в трюм – и кранты.

– Кто утащит?! – спросил я.

– Кто надо! – получил я ответ.

Когда я засыпал, а точнее, проваливался в сон, лёжа на маленькой своей железной койке, на которой до меня спали многие и многие. Я засыпал на одолженной мне простыне и подушке... Я проваливался в сон, оглушённый величиим моего открытия. Я именно проваливался в сон, даже не желая ни спать, ни дышать, ни жить... «Мама, мама, мамочка...» – звучало во мне, и губы мои, я это чувствовал, слегка шевелились.

## Встреча с мудростью

Самым старшим, в смысле взрослым человеком у нас на корабле был наш боцман, старший мичман Хамовский. Многие по незнанию думают, что боцман – это такое звание. То есть бывают лейтенанты, старшие лейтенанты, адмиралы... и есть боцманы. Так вот нет. Боцман – это должность, типа завхоза на корабле, но только с более широкими функциями. Боцман не только хранит и бережёт, а порою и подворовывает разное имущество и такелаж, от мыла до последней верёвочки, но и следит за правильным использованием всего-всего. Он обучает матросов вязать узлы, правильно швартоваться, правильно мыться и стирать одежду, ещё он контролирует, чтобы всё было и находилось в соответствии с флотскими и корабельными порядками, традициями и уставами. А если хотите, он учит матросов даже правильно, по-флотски, говорить. От того, какой на корабле боцман, зависит очень многое – от внешнего вида корабля до общего настроения экипажа. В общем, у нас боцман был старый, толстый, абсолютно хрестоматийный, очень строгий и по фамилии Хамовский.

Хамовский был самый опытный моряк на нашем корабле, и все знали, что раньше он служил на крейсерах. Когда раньше? В незапамятные времена!

В отличие от всех остальных мичманов и всех офицеров, которые носили на всех видах формы разные свои значки, медали или хотя бы ряды планок, по которым было видно, какими наградами они награждены, Хамовский не носил ничего. Он и зимой и летом появлялся на палубе в своём старом кителе, который неизвестно какими усилиями был застёгнут. Видно было, что если пуговица этого кителя оторвётся, то она полетит, как пуля, и сможет нанести увечья в случае попадания в человека. Воротник-стойка обычно был расстёгнут, но всегда подшит безупречно белым воротничком. Пуговицы кителя давно стёрлись, и на них не было ни капли позолоты. Китель был заношен до возможного предела, но держался, натянутый на мощное тело боцмана, как перекачанный воздушный шар. На этом кителе всегда красовался только один, видимо, уже давно устаревший нагрудный знак. Ни у кого я такого не видел. Это был значок с треснувшим эмалевым покрытием... короче, это был знак «За пересечение экватора».

Увидеть Хамовского гладко выбритым можно было только утром, на подъёме флага, к обеду его упругие толстые щёки уже покрывала серебристая щетина, а к вечеру она превращалась в короткую седую бороду. Из него всё, что называется, пёрло. И ещё он непрерывно курил самые дешёвые сигареты без фильтра, которыми снабжался экипаж на табачное довольствие.

Невозможно было представить себе, чтобы на него кто-нибудь из офицеров, даже командир или старпом, повысил голос или попробовали бы его ругать. Никогда! Наш въедливый и истеричный старпом по фамилии Галкин, которого иначе как Ворона никто между собой не звал, даже он ни разу не посмел сделать хотя бы замечание Хамовскому. Старпом, чей голос раздавался без умолку из всех уголков и отсеков корабля, который легко всех наказывал и постоянно сетовал, что не имеет права расстреливать и вешать, который доводил свой голос до какого-то хриплого визга приблизительно раз в десять минут... Он ни разу не посмел выразить даже неудовольствие боцманом.

Хамовский никогда не спешил, мы ни разу не видели его бегущим или хотя бы запыхавшимся, но он всегда оказывался в том или ином месте корабля раньше всех и подгонял нас железными тумаками или даже кулаком, который был огромный, сухой и очень меткий. Пальцы боцмана были волосатые, и кулак казался от этого ещё больше, хотя и без того был огромным. Как же больно он бил в спину или в лоб! Какие яркие и белые летели искры из глаз! Но мы каждый раз благодарно кричали: «Спасибо, тащ мичман!» Он при учил нас к этому, и мы с удовольствием орали, понимая, что так было в те самые незапамятные времена, когда моряки были не то что сейчас.

Ещё на корабле у нас был матрос по фамилии Беридзе. Звали его Джамал, и был он грузин, а точнее, аджарец. Его сильно любил Хамовский, и меня Хамовский тоже любил, не так сильно, как Беридзе, но всё-таки довольно сильно. Мы очень страдали от этой любви.

Джамал был очень особенный человек. Во-первых, он был старше нас всех. Его призывали на службу в 22 года, а стало быть, он по сравнению с нами, восемнадцатилетними, был мужик. Он был высокого роста с нелепой и совершенно непропорциональной фигурой. Длинные ноги и руки, короткое широкое туловище, короткая шея, огромная голова, и отдельной частью образа Джамала был нос. Очень большой даже для его огромной головы. А голова у него была такая, что даже бескозырка 60-го размера, самая большая, какую смогли найти, сидела на ней, как кипа на голове еврея.

Джамал очень плохо говорил по-русски и чертовски плохо обучался. Но то, что он говорил, всегда было красиво и удивительно парадоксально. Он отличался выдающейся физической силой и такой же ленью, правда, с приступами неожиданного трудового энтузиазма. Работать он умел, особенно ремонтировать что-нибудь не очень сложное и, главное, не связанное с электричеством. До службы он работал лесником в Батумском ботаническом саду. Его ладони были сухие и покрытые настоящими непроходящими мозолями, как корой.

Джамал остро чувствовал несправедливость и с трудом принимал условия военной субординации. А когда на него кричал кто-нибудь из офицеров, он всё равно поднимал правую руку к груди и говорил: «Э-э-э», – и укоризненно качал головой. Когда он так делал старпому, тот взрывался, орал, обещал Джамала расстрелять и говорил очень быстро очень много обидного про Грузию, грузин, родственников Джамала и ближайших его родственников. Джамала спасало только то, что старпом говорил очень быстро, и Джамал просто не понимал, что именно ему говорят.

Джамал не понимал и не собирался понимать, что перловая каша и макароны – это еда и её можно есть. Он не понимал, что то, что нам давали под названием чай, можно пить. Ему было сложно, но он не задавал вопросов. Он старался сохранять спокойное выражение лица всегда. И чем непонятнее была ситуация, тем спокойнее, молчаливее и горделивее держался Беридзе.

Однажды, когда проверяющий офицер из командования флотилии, нагрянувший с инспекцией, требовал от матроса Беридзе объяснить и рассказать, как он должен действовать в ситуации по боевому расписанию... Он требовал, чтобы Джамал рассказал, как он должен действовать и в какой последовательности. Джамал стоял более-менее по стойке смирно и не говорил ни слова. Он неплохо управлялся с нашим торпедным аппаратом и всё делал быстро и мощно своими большими руками, но тут он молчал. Он понимал, что им недовольны, что его ругают и даже могут наказать, но молчал. Я уверен, что, если бы ему дали возможность говорить по-грузински, он всё бы сказал, скорее даже не сказал, а как-то по-простому объяснил бы. Но сказать, как этого требовали устав и инструкция... Или если бы его медленно и вежливо попросили показать, что он должен делать, он всё бы показал. А тут он стоял и молчал.

Однажды я спросил его: «Джамал, а на каком языке ты думаешь?» Я не ожидал от него такого тонкого ответа, какой получил. Он задумался минуты на три, то есть надолго. Было видно, что в его большой голове идёт серьёзная и обстоятельная работа.

– Когда я разговариваю с Багидзе, – наконец медленно ответил он. (Багидзе был ещё один аджарец на нашем корабле. Он служил в машинном отделении и был трюмным машинистом. Им удавалось поговорить нечасто, и они всегда сильно спорили на родном языке.) – Да, когда я говорю с Багидзе, – повторил Джамал, – я думаю по-аджарски. А когда говорю с тобой, я думаю по-русски, – сказал он и через небольшую паузу добавил: – С акцентом думаю.

Так вот, Беридзе стоял перед проверяющим и молчал. Молчал спокойно, без вызова, но и не без гордости.

– Да как вообще этот питекантроп тут служит? Он что, немой у вас, что ли? – вышел из себя чистенький проверяющий офицер. Ты долго мне тут индейца будешь изображать? А?! – Он приблизился вплотную к Джамалу и говорил прямо ему в лицо. – Алё! Ты что, джигит, забыл, где ты и кто ты? А?! Я тебя заставлю букварь выучить, чучело носатое. Торпедист, понимаешь! Тихоокеанец, мать твою!

Видимо, говоря последнее, офицер брызнул слюной в лицо Беридзе. Джамал изменился в лице, и я замер от страха за него. Джамал медленно вытер рукой лицо.

– Послушай, товарищ ка, – сказал он снисходительным и даже покровительственно спокойным голосом, каким спокойные и сдержанные взрослые говорят с распоясавшимися детьми. («Товарищ ка» заменяло Джамалу обращение ко всем офицерам и мичманам, имелось в виду – товарищ командир.) – Ну что ты ругаешься? Вот торпеда стоит, он тоже ничего тебе не говорит, он тоже тихоокеанский.

Что тут началось... Но я не об этом.

Когда мы с Джамалом служили первый свой год на корабле, нам приходилось периодически чистить картошку. Часто мы делали это вместе вдвоём. На 130 человек картошки надо было начистить много.

Джамал чистил картошку очень просто. На каждую картофелину у него уходило шесть движений ножом. Вне зависимости от размера картошки у него получался небольшой кубик. Все кубики у него выходили приблизительно одинаковые.

Он сидел понуро, реза л картошку, и внутри него закипала обида, раздражение и какие-то слова. К восьмой картофелине он громко ворчал, к десятой ругался по-аджарски, а после двенадцатой сильно бросал нож и получившийся кубик в ведро. Потом он бил себя ладонями по щекам и громко говорил ведру по-русски...

– У меня три сестры, понял! Один старший, две младший! Я один сын! Я эту картошку в руки не брал никогда, – и дальше снова по-аджарски.

Так он говорил минуту. Потом тихо брал нож и очередной корнеплод, и всё повторялось в точности. И так через каждые двенадцать, до самого конца, в смысле, пока картошка не заканчивалась.

Когда Хамовский увидел его способ обработки картошки, он приказал выбрать из очисток все джамаловы обрезки, а потом заставил меня на глазах у Джамала очистить их и бросить в ведро с чищенной картошкой. Джамалу же он приказал стоять и смотреть. Я ковырялся очень долго, и это было трудно. Когда я поднял глаза на Джамала, в глазах его стояли большие слёзы, а зубы он сжал так, что скулы побелели. Хамовский тоже стоял и смотрел.

В следующий раз, когда мы снова попали на камбуз чистить картошку, Хамовский явился сразу. Он забрал у Беридзе нож и дал ему обычную алюминиевую ложку.

– Скобли. Это картошка, а не дрова. От твоей чистки человек двадцать таких же, как ты, моряков, вообще остались без картошечки, – сказал он медленно, строго и сразу ушёл.

Джамал долго и безропотно скоблил картошку ложкой, только пару раз вышел из камбуза покурить. Любил наш боцман Джамала, что тут сделаешь.

Но после случая с котлетой Джамала полюбили все. История с котлетой передавалась из уст в уста и, я думаю, будет передаваться, пока на нашем корабле поднимают или поднимают военно-морской флаг. Эта история будет жить, пока жив наш корабль.

К тому моменту, как она, эта история, произошла, мы прослужили на корабле больше половины положенного срока. Джамал отпустил большие чёрные с рыжим усы и заматерел безусловно.

В тот самый день стояла жара, было начало лета, и к тому же была суббота. В субботу на всех кораблях проводится большая приборка, а потом баня. Мы драили свой корабль с утра и до самого обеда, раздевшись до трусов. В то же самое время на пирсе работали солдаты из строительного батальона. Они что-то заливали бетоном, что-то подмазывали, в общем, ковы-

рялись. Их было человек восемь довольно заморенных и закопчённых солдатиков. С ними был толстый краснолицый прапорщик, который сидел в тени с носовым платком на голове и сильно потел.

Конечно, со всех кораблей солдатам кричали: «Эй, дальневосточники, сапоги не жмут?» или «Алё, гвардейцы, а где вы автоматы свои забыли?» и прочее.

Противостояние строительного батальона и моряков было нешуточным. По субботам иногда бывали танцы в Доме офицеров в посёлке. Там же показывали кино. И встречи военных строителей и моряков заканчивались обычным мордобоем, в котором моряки всегда одерживали верх по причине большей сплочённости и лихости. Но надо отдать должное и солдатам. Они однажды здорово и больно отомстили нам.

Представляете, утро, на всех кораблях экипажи построились для подъёма флага, а по пирсу бегают грязный поросёнок, или даже лучше сказать – кабанчик, одетый в грязную телюгу. Это было место, и место, угодившая в самое сердце каждому моряку.

Так вот. Солдатики работали с утра у нас на пирсе, работали до обеда, а обед им не привезли. На кораблях прозвучали команды: «Закончить приборку» и следом: «Команде обедать». Мы побежали умываться, а потом заспешили к субботней трапезе.

По субботам давали котлеты. Только по субботам и только в обед! Котлеты выдавались по одной на каждого члена экипажа в независимости от выслуги лет. Котлеты были большие, плоские и состояли из толстого слоя жирной хрустящей панировки, хлеба и мелко перемолотых жил, хрящей и ещё неведомо чего, лучше было не знать, не догадываться и не думать! То есть котлеты были очень вкусные. Их ждали всю неделю. Джамал эти котлеты, точнее, свою котлету ел всегда медленно, с удовольствием и относился к ней очень серьёзно.

В ту субботу его отправили куда-то с группой матросов, чтобы нарезать ветки для веников и метел, которыми подметали пирс и дорогу возле ворот, ведущих на пирс. Короче говоря, его с самого утра на корабле не было.

Мы поспешили на обед, а солдатики на пирсе сидели, грустно курили и пили воду из фляжек. Их краснолицый прапорщик куда-то пропал.

– Что, служба, лапу сосём?! – услышали мы неповторимый голос Хамовского. – Кинуло вас командование?

– Курим мы, товарищ мичман, – ответил с пирса маленький чубатый сержантик. Ответил не без достоинства.

– Вижу, что не Машку щупаете! – ответил Хамовский. – Ты, сынок, помолчи тут. Курить натошак вредно! Сапоги можно откинуть раньше положенного, – сказал он, дымя сигаретой. – Посидите маленько.

Хамовский ушёл, а мы сгрудились у борта и ждали, что будет. Вскоре Хамовский появился на палубе вместе с командиром нашего корабля, миниатюрным капитаном второго ранга, у которого был тихий голос и всегда сияющие ботинки. Для нас он был чем-то средним между полубогом и просто богом. Хамовский ему что-то объяснял и показывал рукой на солдат на пирсе. Командир слушал внимательно, коротко посмотрел на солдат, коротко кивнул и ушёл.

– Эй, военные! – крикнул на пирс Хамовский. – Внимание, я сейчас к вам приду. Готовьтесь, мужчины.

Солдаты тут же встали, потому что такому голосу нельзя было не подчиниться. Они поправили форму и почти выстроились.

– Вольно, вольно, – говорил Хамовский, тяжело шагая по трапу на пирс, – значит, так, бойцы, вас приглашает пообедать наш славный экипаж. Добро пожаловать на борт! – Тут он повернулся в нашу сторону и погрозил нам своим огромным мохнатым кулаком, но при этом подмигнул: – Вот только вам придётся разуться, потому что по палубе корабля в сапогах ходить нельзя. Но экипаж к вашему приходу произвёл приборку, так что не волнуйтесь.

– Товарищ мичман, босиком, что ли? – спросил всё тот же сержантик.

– Сынок, тебе не кажется, что ты уже много сказал, а? – рявкнул Хамовский. – Скидывайте сапоги и шагом марш обедать. Сапоги оставьте здесь. Не ссыте, никто не возьмёт.

Солдаты и сержантик стали разуваться под наше улюлюканье. Особым смехом было встречено разматывание портянок.

– Цыц! – крикнул Хамовский. – Мы уважаем братские рода войск! – И он снова нам подмигнул.

Ноги у солдат были, скажем, не самые чистые в мире, и ногти были у них не самые постриженные. Они шли по палубе корабля робко и боязливо, чему мы были рады, а Хамовский шёл за ними, как пастух за гусями.

Солдат рассадили за столы по два за стол, потеснив нас.

Наш стол стоял у самого борта возле иллюминатора. Стол был длинный, на восемь человек, и вдоль него стояли две узкие скамейки. Стол мы называли «бак», а скамейку «баночка», очевидно, от английского «banch». И стол и скамейки были металлические и крепились к палубе специальными цепочками на случай качки. К нам за стол посадили двух солдат, совсем молоденьких, короткостриженных и закопчённых. Они очень робели, а мы вели себя солидно и картинно.

Джама ла всё ещё не было, и его место пустовало. На первое был густой рассольник с перловкой, солёными огурцами, картошкой и мясом. Джамалу даже не поставили тарелку для этого супа, он всё равно не притронулся бы к нему. Мы ковырялись в супе, выбирая лакомые кусочки тушёнки и картошки, а солдатики ели не сдерживаясь. Они чистосердечно признались, что так их не кормят и что такого супа они не едали с самой «гражданки». Мы же говорили, что кок, падла, сегодня плохо приготовил. Ещё они хвалили наш хлеб. Ещё бы, его пекли у нас на корабле, и он был тёплый и ароматный.

И вот подали второе! Котлеты и слегка сероватое, не без комков, но всё же картофельное пюре. Котлеты были строго по счёту, и восьми дополнительным взяться было неоткуда. Решили эту проблему очень просто. Каждый из нас дал по части своей котлеты. Делали мы это небрежно, с видом, что мы такое едим каждый день и по нескольку раз. Поэтому ломали мы свои котлеты щедро. У каждого солдата в тарелке оказалась в итоге целая гора ценных котлетных обломков. И в этот момент появился Джамал Беридзе!

Он ворвался шумно, хохоча и... замер, увидев солдат. Он ничего не знал про них, он даже не видел их на пирсе, когда они работали. Он не мог знать о том, что Хамовский решил накормить забытых их командирами бедолаг. Он просто увидел, что за нашими столами вместе с нами сидят солдаты и едят с нескрываемым наслаждением.

Он замер. На его лице воцарилось хорошо мне знакомое спокойное выражение, какое появлялось на нём в моменты полного непонимания ситуации. Джамал выпрямился, расправил плечи, чинно всем пожелал приятного аппетита, прошествовал на своё место и сел, подбоченившись, вполоборота к столу.

Я видел, что он вообще ничего не может понять, что он сбит с толку и не знает, что делать со всем тем, что он видит. Но спросить он не мог! Задавать вопросы было немислимо для Джамала Беридзе.

Как только он сел, ему тут же принесли тарелку с котлетой и пюре, которое было движением ложки уложено волнами. Тарелку поставили перед Джамалом, он церемонно кивнул и больше не шелохнулся.

А солдаты ели котлеты, восторженно говорили о давно забытом вкусе и вообще раскраснелись от еды и удовольствия. Джамал смотрел на всё это, слушал, ворочал глазами, но глаза были единственной подвижной частью всего его монументального образа. Он сидел так, и когда с котлетами все покончили и добирали последние остатки пюре с тарелок, он вдруг взял свою

котлету за край двумя пальцами, почти брезгливо, не глядя, покачал ею в воздухе... Он сделал это бесшумно, но так, что все тут же посмотрели на него.

Вслед за тем он обвёл глядящих на него, то есть всех нас, спокойным взглядом.

– Зае...ли (в смысле надоели) эти котлеты, – сказал он низким голосом и метко выбросил котлету в открытый иллюминатор.

Воцарилась тишина, все члены экипажа нашего корабля мысленно ему аплодировали. В этот момент была одержана сокрушительная победа флота над армией и всеми другими родами войск.

То есть Джамала было за что любить, и Хамовский любил его, и меня тоже любил, не знаю за что. Мы очень страдали от этого. Особенно зимой, когда корабль преимущественно стоял у стенки (то есть у пирса) и в море не ходил. Когда корабль долго стоит у стенки, возникает много разных хозяйственных дел. В этих делах Хамовский царил безраздельно.

Зимой почти каждый день с корабля брали матросов на разные невоенные или околовоеенные нужды. Где-то надо было убрать снег, где-то надолбить угля, где-то что-нибудь куда-нибудь перетащить и пр. Хамовского очень часто на такие мероприятия отправляли за старшего. И вот тогда мы с Джамалом страдали от его любви.

– Хамовский, – подзывал нашего боцмана старпом, – на станции нужно разгрузить вагон с говядиной. Полутуши какие-то, мля! Сколько вам нужно матросов?

– Так двух достаточно будет, – говорил Хамовский. Я надеюсь, вы понимаете, кто были эти двое.

И весь день мы с Джамалом таскали и грузили в грузовики распиленные пополам замороженные говяжьи туши с маркировкой военных складов. Было холодно, тяжело и противно. Сам же Хамовский исчезал где-то в складских дебрях. Но в тот самый момент, когда наша усталость, замороженность и злоба достигали предела, Хамовский появлялся.

– Эй, моряки, – говорил он нам, – пошли чай пить.

Мы бросали работу и шли мимо длинных сараев в какую-то маленькую избушку.

– Значит, так, – громким шёпотом инструктировал нас Хамовский по ходу. – Беридзе, ты сидишь и пьёшь чай, как джигит, молча, а ты, – обращался он ко мне, – хвали чай, варенье. Ты это умеешь. Там три женщины, женщины шикарные. Перед ними тут каждый день на пупе танцуют. Короче, чай будешь пить, всё хвали, а потом расскажешь им пару анекдотов...

Ну вот этих своих. Чтобы они были довольны. Да, – вдруг говорил он Джамалу, – а ты смотри на них, как джигит, понял.

В избушке было жарко, женщины были именно что шикарные. Большие, в стеганых жилетах и с прическами. Мне, двадцатилетнему человеку, они казались ну... очень взрослыми.

Мы пили вкусный чай с вареньем, печеньем, сгущённым молоком и сушками. Посреди стола стояли весы и гири. Мы делали всё так, как сказал Хамовский, женщины веселились, сверкая золотыми зубами. Хамовский хохотал до слёз, слушая мой анекдот, который слышал в подобных ситуациях много раз.

Потом он, провожая нас на работу, шёл довольный.

– Беридзе, – говорил он, – подбери пять самых хороших туш, понял? Ты в этом понимаешь.

Обедали мы в этот день богато и обильно, но уже в другой компании. Это были два солидных прапорщика, служивших на станции. За обедом я рассказывал другие анекдоты, Хамовский был доволен. После обеда нам налили по стакану грушевой газированной воды, а Хамовский с прапорщиками ловко разлили по своим стаканам бутылочку водки.

– А теперь, уважаемый товарищ Беридзе, – сообщал Хамовский, – скажет настоящий грузинский тост.

Джамал вставал со своей газировкой в руке, говорил что-то очень долгое, витиеватое, комплиментарное по отношению к... таким прекрасным, уважаемым и мудрым людям, какими являлись два толстых прапорщика. Потом мы выпивали и шли грузить мясо.

Когда мы вечером ехали на корабль обратно, в кузове грузовика, помимо нас с Джамалом, лежали пять полутуш говядины, какие-то коробки, два мешка с чем-то и ещё несколько каких-то железяк и трубы.

И вот так всю зиму.

Всё это я рассказываю лишь для того, чтобы описать один эпизод, в котором участвовали как раз Хамовский и Беридзе. Тот эпизод вдруг открыл мне на многое глаза, успокоил меня и, если хотите, примирил с военной моей жизнью и военными, да и не только с военными людьми. Мне открылось тогда, что мудрость может скрываться там, где её ожидать не приходится. И ещё то, что везде, во всём и в каждом, ка за лось бы до конца изу ченном, понятном и к лассифицированном явлении и человеке, может открываться та бездонная глубина, которая не пугает, а заставляет стоять перед ней изумлённым и счастливым оттого, что такая глубина открылась и она прекрасна.

Я хотел поближе познакомить вас с участниками того эпизода, вот и изобразил несколько этюдов к портретам Джамала Беридзе и старшего мичмана Хамовского, нашего боцмана.

Тогда вовсю стоял май, днём было тепло до жаркого, а вечером и утром приползали холодные туманы. На деревьях появилась зеленоватая дымка. Это мы видели с корабля, и до нас долетали весенние запахи оживающей земли и прошлогодней мёртвой травы. Это был последний май, который я должен был прожить военным моряком, и всё во мне ликовало и готово было радоваться сильнее.

И вот в одно майское солнечное воскресенье после завтрака ко мне подошёл улыбающийся Хамовский. Его улыбка не сулила ничего хорошего.

– Ну-ка отыщи-ка Беридзе, – бегом.

Я нашёл Беридзе, который с удовольствием смотрел телевизор в кубрике.

По телевизору шли соревнования по женской гимнастике. Джамал смотрел очень внимательно. Я подошёл к нему молча.

– Что, Хамовский зовёт? – тихо спросил он.

Я кивнул.

Хамовский ждал нас на юте (то есть на корме).

– Так, – сказал он, оглядев нас с ног до головы, как будто в первый раз видел, – живо переоденьтесь, и сходим в посёлок. Надо кое-что принести.

– Товарищ мичман, как это сходим? Одиннадцать километров! – удивился я. – И ещё нести оттуда придётся... Воскресенье, товарищ мичман...

– Тебе не кажется, что ты уже много что сказал? – был ответ.

– Сегодня кино будут показывать! – сказал Беридзе. – Можно мы посмотрим, а потом пойдём туда-сюда.

– Может быть, тебе ещё и на спину насрать? – спросил боцман.

Это был один из обычных ответов Хамовского. У него можно было попросить что угодно, например, новую мочалку или ниток и иголку, а он помнил, сколько он чего, когда и кому давал. Или...

– Товарищ мичман, дайте мыла земляничного, ну устал я уже хозяйственным мылом голову мыть, – канючил какой-нибудь матросик.

– Хозяйственным мылом мыться хорошо, – отвечал боцман, – его крысы жрут. Они дрянь жрать не станут.

– Вот я и говорю, товарищ мичман, дайте мне плохого земляничного мыла, я знаю, у вас ещё осталось.

– А может, тебе ещё и на спину насрать, – говорил Хамовский.

В его устах это означало некое великое благо, которого просивший явно не заслужил. Ни от кого я не слышал такой фразы. А у Хамовского их было много. В этих фразах тоже слышалось эхо незапамятных времён.

То есть нам с Беридзе было бесполезно препираться, нужно было переодеться и следовать за Хамовским.

– А что понесём-то? – обречённо спросил я.

– Ещё один вопрос – и понесут тебя, – был ответ.

Через пятнадцать минут мы шли в нашей суконной форме и бескозырках с белыми чехлами по пирсу, а ещё через пять минут поднимались в сопку. Шли медленно, Хамовский быстро не ходил.

Было уже по-летнему тепло, и сквозь павшую прошлогоднюю траву торчали тоненькие новые травинки.

К часу дня мы были в посёлке. Не хочу описывать этот посёлок. Тот, кто знает отдалённые от цивилизации посёлки, в которых в основном живут разнообразные военные и печальные гражданские лица, он может себе этот посёлок представить. Типичный такой посёлок. А тот, кто не знает, тот не сможет представить себе этот ужас и безысходность. Не сможет, сколько бы я это ни описывал.

Мы подошли к магазину и остановились.

– Так, – сказал Хамовский, – нам надо найти одного моего старого корабельного друга (это прозвучало как цитата из «Острова сокровищ», но я уверен, что Хамовский и не знал, что он почти точно повторил слова слепого Пью из романа Стивенсона).

Он зашёл в магазин и минут десять разговаривал с продавщицей.

– Так, – сказал он, выходя, – оперативное время 13 часов 8 минут. Сейчас мы обедаем – и за дело. Он накормил нас рыбными консервами и плохим хлебом, пили мы тёплый густой сливовый сок. Всё это он купил в магазине и поел с нами. Трапезничали мы молча, сидя на скамейке возле магазина. Две ложки и вилку он взял у продавщицы.

Потом мы пошли мимо двухэтажных деревянных домов. Людей практически не было видно, только из открытых окон доносились звуки работающих телевизоров. Возле одного такого дома мы остановились. Хамовский приказал его ждать, зашёл в грязный тёмный подъезд и стал подниматься по лестнице. Его не было долго, минут сорок. Мы уже начали маяться. Я ужасно устал от молчания. Мы молчали всю дорогу. Хамовский и Беридзе были ещё те собеседники.

Наконец наш боцман вернулся, и не один. С ним вместе шёл худой, весь испитой и бледный мужичок в тренировочных штанах и жёлтой флотской офицерской рубашке. Рубашка была грязная и заправлена под резинку штанов. На ногах у него красовались шлёпанцы, которые хлопали по пяткам при ходьбе.

– Вот, – сказал Хамовский, – это Эдик! Мой друг и брат. Для вас, пацаны, это Эдуард Павлович! Когда-то на крейсере «Суворов» его боялись даже больше меня. Он был самый страшный мичман.

Эдуард Павлович смотрел куда-то мимо нас и был здорово пьян.

– А тебе, Эдик, – продолжил Хамовский, – имена и звания этих салаг знать не обязательно. Разве это моряки? – сказал он и подмигнул нам.

Эдик плюнул и пошёл куда-то влево, не сказав ни слова. Хамовский пошёл за ним, а мы потащились следом. Мы прошли мимо каких-то сараев и сараюшек, каких-то углярок и деревянных клетушек и приплелись к гаражам.

Их было несколько, кирпичных гаражей с ржавыми воротами. По мусору и жухлой траве перед этими воротами было ясно, что машины здесь не держат, а если держат, то пользуются ими очень редко или не пользуются вовсе.

Эдуард Павлович подошёл к одному из этих гаражей, вытянул из кармана связку ключей на длинном кожаном шнурке. Он поковырялся с висячим замком, не сразу, но всё-таки открыл его и распахнул перед нами ворота.

В гараже никакой машины не было, там вообще почти ничего не было. Пара ящиков из-под снарядов, какой-то хлам по углам, и в самом центре стоял тот предмет, который вскоре станет для нас с Джамалом и бременем, и жребием, и мукой. Предмет был большой, железный, ржавый и явно кустарного производства. Это был трансформатор, очевидно, сделанный умельцами в незапамятные времена.

– Вот, – сказал Хамовский, – щас мы его отнесём на корабль. Хватайте его, мужчины, – это было сказано нам.

Эдуард Павлович сел на ящик и весь обвис и обмяк. Мы так до сих пор и не слышали его голоса. Он сделал какой-то неопределённый жест в сторону Хамовского, тот тут же подал ему сигарету и щёлкнул зажигалкой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.